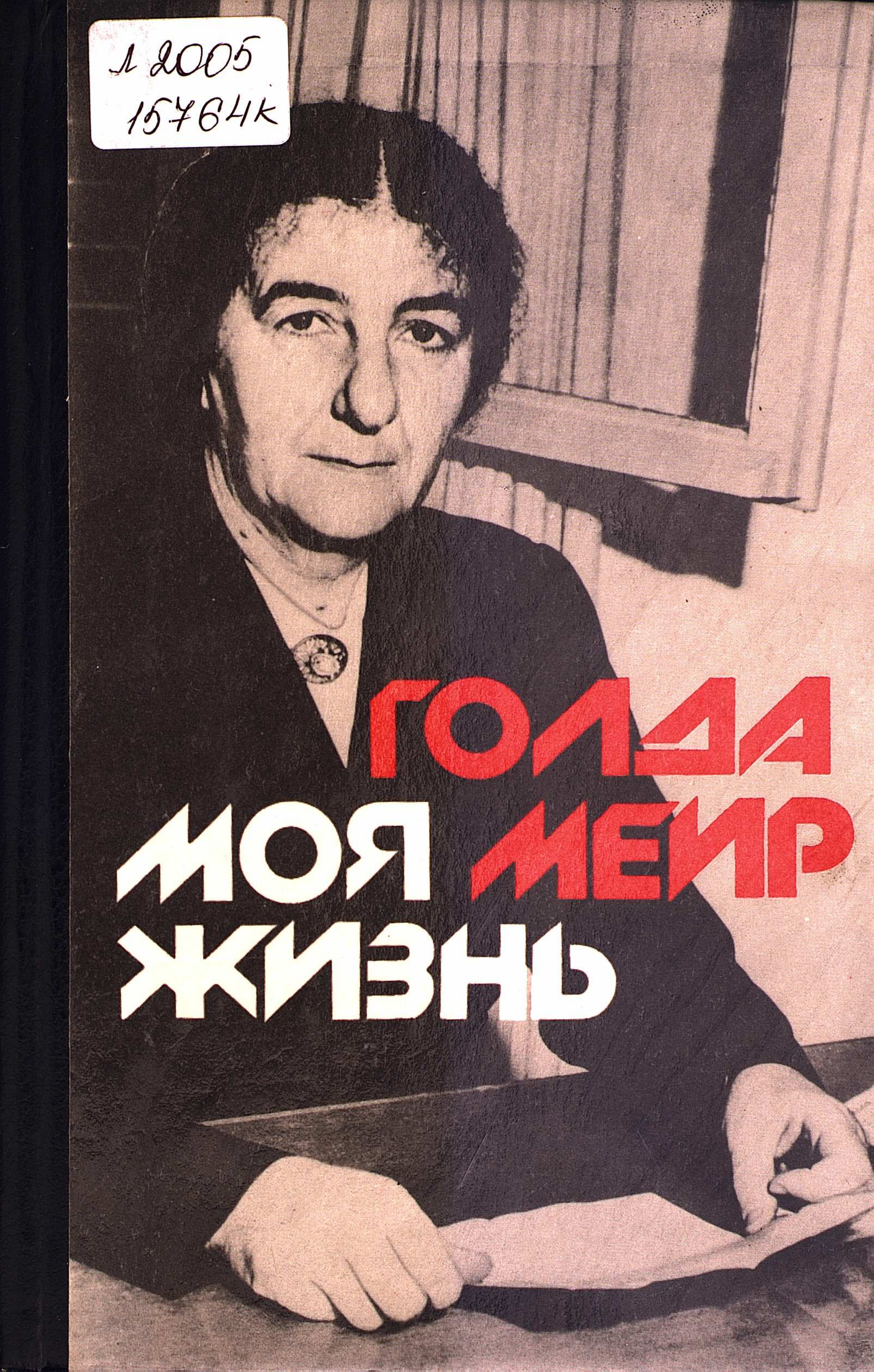


Л 2005
15464к

A black and white portrait of Golda Meir, an elderly woman with dark, wavy hair, wearing a dark jacket and a necklace with a circular pendant. She is seated at a desk with her hands resting on it. The background shows a window with vertical blinds.

ГОЛДА МОЯ МЕИР ЖИЗНЬ





Голда Меир
МОЯ ЖИЗНЬ
Автобиография

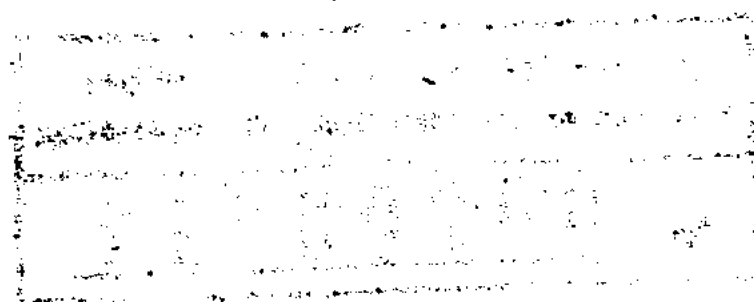
**Издание книги посвящается 45-летию
образования государства Израиль**

Л 2005/15764 к

ГОЛДА МЕИР

МОЯ ЖИЗНЬ

АВТОБИОГРАФИЯ



СОЦИНВЕСТ

Алматы

ГОРИЗОНТ

Москва

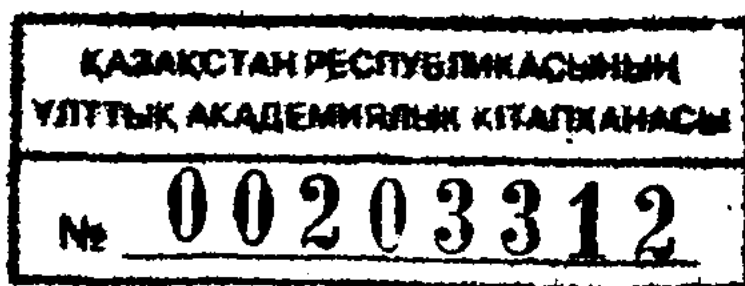
1993

ББК 66.3(08)
М45

Печатается по изданию:
Голда Меир. Моя жизнь: Автобиография.
Израиль, изд-во «Библиотека-Алия», 1989

Перевела с иврита
Руфь ЗЕРНОВА
Предисловие и общая редакция
Якова ЦУРА

Часть средств, полученных от выпуска
этой книги, издатели перечисляют
на развитие еврейской культуры
в странах СНГ.



ISBN 5-85960-009-7

© «Библиотека-Алия», 1985

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, опубликованная в последние годы жизни Голды Меир (1898—1978), не только верно отражает ее личность, но и точно передает ее индивидуальный стиль. Голда не писала книгу, а диктовала ее, причем, как обычно в разговоре, перескакивала с одной темы на другую, то пускаясь в воспоминания, то набрасывая образы запомнившихся ей людей, — и все это вплеталось в канву очередной главы. Все, кто работал с Голдой и близко знал ее, помнят, что она крайне редко собственноручно писала письма и никогда (за исключением официальных речей на Генеральной Ассамблее ООН или в Совете Безопасности) не читала речей «по бумажке». Когда Голда обращалась с трибуны к аудитории, перед ее глазами не было ни клочка бумаги. И несмотря на это — а, может быть, благодаря этому — она была одним из самых замечательных ораторов своего времени.

Голда Меир являлась одной из первых в мире женщин, достигших положения главы правительства. До нее лишь на Цейлоне и в Индии правительства возглавляли женщины — Сиримаво Бандаранаике и Индира Ганди. Но между ними и Голдой Меир было принципиальное различие. Сиримаво Бандаранаике и Индира Ганди, став лидерами своих стран, из всех сил, доходя порой до жестокости, стремились удержать единоличную власть. Голда же считала себя представительницей своей партии — сионистской рабочей партии Израиля, к которой принадлежала с юности. Она никогда не требовала от народа верности себе лично, призывая лишь сохранять верность идеям, в которые верила сама. И тут

Голда не признавала никаких компромиссов. Мир для нее делился на черное и белое; любой, кто не принимал ее мировоззрения, был противником, идеологическим и личным.

В этой уверенности коренилась непримиримость Голды, характеризовавшая весь ее политический путь. Голда никогда не боролась за посты и почетные звания. Но раз взяв на себя ответственность за жизнь народа и страны, она фанатично оберегала свои прерогативы.

Голда не принадлежала к феминисткам. Она достигла своего высокого положения не потому, что была женщиной. На страницах этой книги Голда вспоминает поговорку, бытовавшую в ее времена: «Голда — единственный мужчина в правительстве», — говорили тогда. С характерным для нее сарказмом Голда замечает по этому поводу: «А если бы про одного из членов правительства сказали, что он — единственная женщина в его составе, — как бы вы посмотрели на это?»

И вместе с тем Голда была женщиной в полном смысле этого слова. Она никогда не скрывала свою женственность, а напротив, гордилась ею. Она была преданной, любящей матерью и бабушкой. Нередко даже в разгар тяжелейших политических передышек Голда срывалась на день или полдня в киббуц Ревивим в южном Негеве, где жила ее дочь и внуки. Она любила готовить и не упускала случая заняться стряпней. Политическая «кухня Голды», которую столь часто склоняли ее политические противники, имея в виду место, где в узком кругу решаются важные политические дела, представляла собой самую доподлинную кухню, где Голда обыкновенно пила кофе, курила одну сигарету за другой, беседовала и советовалась с друзьями.

И по отношению к людям Голда зачастую вела себя типично по-женски. Ее оценка людей нередко основывалась на иррациональных ощущениях, на природной интуиции — и опять-таки, раз вынесши суждение о том или ином человеке, она меняла его с колоссальным трудом. Голда умела завоевывать сердца. Общавшиеся с нею люди быстро попадали под обаяние ее естественности и простоты, ее таланта ясно и понятно излагать свои позиции. Журналисты любили вспречаться с нею. Она никогда не пряталась за спасительную формулировку — «на этот вопрос ответа не последует». Если же Голда не хотела или не могла ответить на определенный вопрос, она всегда находила способ изменить направление беседы или рассказывала анекдот, обрывавший нежелательный для нее разговор.

Мне вспоминаются два случая, когда Голде, исполнявшей тогда обязанности министра иностранных дел, удалось привлечь на свою сторону политических деятелей, отнюдь не являвшихся сторонниками сионизма и государства Израиль.

В шестидесятые годы, в продолжение одной из ее поездок в Рим, Голде нанес визит ветеран итальянского социалистического движения Пьетро Ненни. Он в тот период сблизился с коммунистической партией и относился к сионизму весьма прохладно. Я служил переводчиком во время их беседы — Пьетро Ненни говорил по-французски, а Голда не знала других иностранных языков, кроме английского. В начале беседы Ненни держался холодно и сдержанно. А по прошествии двух часов, выходя из отеля, где остановилась Голда, Ненни уже был убежденным другом Израиля — таким он и остался до конца своих дней.

Другой аналогичный случай произошел с французским министром иностранных дел при президенте де Голле — Кувом де Мюрвилем. Голда в своей книге определяет его как самого истого «англичанина» из всех политических деятелей Франции. Это был холодный, умный и закрытый человек, сделавший карьеру главным образом в арабских странах, особенно в Египте. Как Голде удалось «разморозить» его, я никогда не мог понять. Но факт остается фактом — встречаясь с Голдой, он раз от разу проявлял все большее понимание ее позиций и в конце концов между ними установились почти дружеские отношения.

* * *

В душе Голды жили воспоминания о погромах, виденных ею в детстве на юге России, о нищенском существовании, которое влачила ее семья после эмиграции в Америку в Милуоки. Отправляясь на встречу с папой римским, Голда испытывала гордость от того, что она, дочь простого еврейского плотника, представляет еврейский народ перед главой могущественной католической церкви. Голда всегда гордилась своей принадлежностью к еврейству, и чувство еврейской гордости оказало заметное влияние на ее политический курс, когда она возглавляла правительство Израиля. Ни за что на свете не соглашалась она на какие бы то ни было компромиссы, способные нанести урон чести государства. Пожалуй, именно этим можно объяснить ее недостаточную гибкость, недоверие, проявленное ею по отношению к намекам на возможность мирного решения египетско-израильского конф-

ликта, которые щедро разбрасывал Анвар Сагат в первые годы своего правления после смерти откровенно враждебного Израилю честолобивого и популярного в народе Гамала Абдель Насера. Тем же мотивами было продиктовано и отношение Голды к специальному представителю Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке послу у Яррингу, который считал для себя позволительным пренебрегать честью Израиля ради того, чтобы завоевать расположение египтян. Все подобные попытки Голда решительно пресекала. По этой же причине Голда стала резкой противницей австрийского канцлера Бруно Крайского, являвшегося ее коллегой по Социалистическому интернационалу. Крайский унаследовал антиссионистские взгляды от своих предшественников по руководству социал-демократической партией Австрии, подавляющее большинство которых также были евреями, отрицавшими сионизм и еврейский национализм.

Чрезвычайно характерно для Голды ее отношение к африканцам. Произошедшее при Голде сближение Израиля с черной Африкой не было только политическим шагом. Голда симпатизировала африканским неграм, считая, что они, как жертвы империалистической эксплуатации и расовой дискриминации, являются для евреев братьями по несчастью: ведь евреи — единственный белый народ, подвергавшийся расовой дискриминации. В 1957 году, будучи израильским послом в Париже, я сопровождал министра иностранных дел государства Израиль Голду Меир в ее первой поездке по французской Западной Африке. Некоторые из тогдашних африканских лидеров, в особенности Уфуэ-Буаьи из Берега Слоновой Кости, остались в тесных дружественных отношениях с Голдой до конца ее жизни. Правда, частые государственные перевороты в молодых африканских государствах причинили Голде немало разочарований.

В тот период имя Голды стало легендарным на африканском континенте. Мне привелось однажды ехать в сопровождении одного лишь шофера-африканца от столицы Мали Бамако до столицы Гвинеи Конакри. По дороге мы несколько раз оказывались на примитивных паромных переправах через реку Нигер. Африканцы, встречавшиеся нам на этих переправах, спрашивали моего шофера, кто я такой и откуда. Я не понимал разговора, который велся на местном наречии, но стоило моему спутнику сказать, что я из Израиля, как тут же раздавались восклицания: «А, Голда Меир!». Устный африканский телеграф быстро передавал сообщения.

В бытность свою министром иностранных дел Голда успела создать мощную систему помощи африканским странам, в первую очередь, в деле образования и земледелия. Частично эта система функционирует и по сей день, несмотря на разрыв дипломатических отношений, но прежде она действовала с большим размахом. Африканцы видели в израильтянах не высокомерных белых специалистов, а грузей, приехавших помогать им. Иерусалимские старожилы помнят вечера песни и танца, которые устраивала у себя дома Голда, когда приезжали делегации из стран черной Африки; там африканцы и израильтяне плясали вместе, да и сама Голда вступала в хоровод.

В отношении Голды к жителям черной Африки было немало наивности. В примитивном образе жизни африканцев Голда вивила лишь колониальные державы, забывая о силе местных предрассудков, которые предстали во всем безобразии после того, как большинство народов Африки добились независимости. Голда ждала от африканских лидеров самоотверженности, предельной самоотдачи, преданности своему делу, а качества эти были большой редкостью в узком кругу образованных африканцев, в руки которых попала власть в молодых государствах. Трудно было убедить Голду в том, что там иные условия и иные люди, что африканцы не скоро станут походить на пионеров-халуцим, пожертвовавших личной жизнью ради строительства Эрец.

Во время первой встречи Голды с президентом Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаьи африканский государственный деятель сказал ей: «Я принадлежу к племени, которым по традиции управляют женщины. Этот тип общества вы, белые, называете матриархатом. Все мое имущество записано на имя моих теток. Даже когда я был министром французского правительства, я время от времени приезжал в свою деревню, чтобы отчитаться перед двумя старейшими женщинами племени. Поэтому я счастлив, что удостоился чести принимать в моей стране женщину, занимающую столь высокий политический пост».

* * *

Последние годы Голды Меир, когда она достигла вершины своей карьеры и стала главой правительства, были самыми трудными годами ее жизни. Дело тут не только в ее возрасте — ей было уже за семьдесят — и не в состоянии ее здоровья. Наоборот, казалось подчас, что колоссальная ответственность работы излечила ее. Но — и страницы

этой книги свидетельство тому — Голда тяжело переживала трещину, пролегшую между нею и Бен-Гурионом. Всю жизнь она преклонялась перед ним, считала его великим вождем еврейского народа. Даже если она не соглашалась с ним, довольно было одной откровенной беседы, чтобы положить конец всем разногласиям. Но когда Бен-Гурион, вследствие «дела Лавона», пошел на раскол партии Авода, Голда резко выступила против него и на долгие годы между ними прервалась всякая связь. Только в глубокой старости они помирились, и престарелый Бен-Гурион приехал в киббуц Ревивим на празднование пятидесятилетия приезда Голды в Эрец.

Другой трагедией, омрачившей последние годы Голды, была Война Судного дня. Как известно, война началась с провала израильской военной разведки, не сумевшей распознать признаков готовящегося египетско-сирийского наступления. Война завершилась блестящей военной победой Израиля; к концу войны Армия Оборона Израиля находилась на расстоянии 35 км от Дамаска и 101 км от Каира. Но война эта стоила больших человеческих жертв, и Голда — как политический деятель, как мать и женщина — не могла простить себе крови павших на поле боя.

Голда являлась главой правительства; министром обороны, отвечавшим за армию, был Моше Даян. В правительство Голды входили, как она любила повторять, два бывших начальника генштаба, но она винила себя за то, что не настояла на своем, не подготовилась к войне. Во время войны Голда проявила твердость, взяв на себя ответственность за ход военных действий и поддерживая на исключительно высоком уровне боевой дух народа. Но едва война миновала, она снова начала терзать себя — как она могла не знать, не почувствовать того, что должно было свершиться? Когда Даян подал ей заявление об отставке, Голда отказалась принять, утверждая, что ответственность за все лежит на ней, так как она являлась главой правительства. В конце концов Голда сама ушла в отставку и снова зажила обычной жизнью — старая больная женщина. Но, по единодушному мнению товарищей и противников, — одна из самых крупных личностей, которые выдвинула история независимого еврейского государства.

ЯАКОВ ЦУР

Моим сестрам Шейне и Кларе,
нашим детям
и детям наших детей

ДЕТСТВО

Вероятно, то немногое, что я помню о своем раннем детстве в России — первые восемь лет — и есть мое начало, то, что теперь называют «формирующими годами». Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы просто приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие семьдесят лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья; я помню бедность, холод, голод и страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной-четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: «Христа распяли!». Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей.

Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, что отец для того, чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок, и что мы все должны покорно ожидать прихода хулиганов. Но лучше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось ис-

пытать те ощущения: страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И — инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам.

И еще я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было вволю — ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла и всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина: я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скормливает моей сестре Ципке несколько ложек каши — моей каши, принадлежащей мне по праву! Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что это значит, когда голодают собственные дети, и каково матери решать, который из детей должен получить больше; но тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь тяжела и что справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна падала в обморок от голода в своей школе.

Мои родители были в Киеве присзжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери, и в Пинск мы все через несколько лет вернулись — это было в 1903 году, когда мне было пять лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала, и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для «шадхена» — традиционного свата.

Не знаю, как получилось, что мой отец, родившийся на Украине, должен был проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком; она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом — но роль его, как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее — и для нас тоже — было гораздо важнее, что ей удалось убедить родителей, что достаточно любви с первого взгляда; между тем у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорило в его пользу: он не был невеждой. Некоторое время, когда ему было лет тринадцать-четырнадцать, он учился в иешиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство; но, полагаю, он, вероятно, учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений и по мало-мальски важным вопросам.

Мои родители были очень непохожи друг на друга. Отец, Моше Ицхак Мабович, стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям — пока не будет доказано, что этого делать нельзя. Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком, из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная и куда более предприимчивая, чем мой отец; но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило, родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не остался в живых после Катастрофы, но они живы в моей памяти, и я вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и, если это суббота или праздник, — поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне.

Наша семья не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни: и кошер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе — в той мере, в которой она отделяется от традиции, — играла в нашей жизни очень небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенком много думала о Боге или молилась личному божеству, хотя, когда я стала старше — уже в Америке, — я иногда спорила с мамой о религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала: «Почему, например, идет дождь или снег?» Я ответила ей то, чему меня научили в школе, и она сказала: «Ну, Голделе, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь». Поскольку никто в те дни не слыхивал о возможности сеять тучи, я не нашла, что ответить. А с положением, что евреи — избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется, правильнее считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым народом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное, и этот выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде.

Как бы то ни было, в этом — как и во всем другом — мы жили, как все евреи городов и местечек Восточной Европы. По воскресеньям и в дни поста ходили в «шул» (синагогу), благословляли субботу и держали два календаря: один рус-

ский, другой — относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны 2000 лет назад и чьи смены времен года и древние обычаи мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске.

Родители переехали в Киев, когда Шейна была еще совсем маленькая — а она старше меня на девять лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило, жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение — перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск, полные надежд. В Киеве отец нашел казенную работу — он делал мебель для школьных библиотек — и даже получил аванс. На эти деньги, и еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось, все пойдет хорошо. Но потом работы не стало. Может, это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев славился антисемитизмом. Как бы то ни было, очень скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было заплатить. И эта ситуация повторялась снова и снова на всем протяжении моих детских лет.

Отец стал искать хоть какой-нибудь работы; он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным, ледяным зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой.

Но у мамы были другие горести. Заболели дети: четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли, не достигнув года; а вскоре — другие двое. Мама рыдала над каждым, но, как большинство еврейских матерей ее поколения, она смирялась перед Божьей волей, и маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденному. Они поставили только одно условие: чтобы мои родители с Шейной переехали из своей жалкой и сырой каморки в более просторную и светлую комнату; опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому «молочному брату» жизнь Шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды,

и скоро у моих родителей было трое детей — Шейна, Ципке и я.

В 1903 году — мне было лет пять — мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Кисе, — он поедет в Америку. «А голдене медине» — «золотая страна» — называли ее евреи! Там он разбогатеет. Мама, Шейна, Ципке и я будем ждать его в Пинске. И он снова собрал свое убогое имущество и отправился в неведомую часть света, а мы переселились в дом бабушки и дедушки.

Не знаю, имел ли кто из них на меня влияние, хотя в Пинске я долго прожила у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство, и теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории.

Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых «похитили» у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще и от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мабовича угнали в армию, когда ему было тринадцать лет, — а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в русской армии тринадцать лет и ни разу, несмотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к тrefному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься; за неповиновение его наказывали — целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу, — но он не покорился. И все-таки когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить Закон. Искушая возможный грех, он годами спал на скамейке в неотапливаемой синагоге, и подушкой ему служил камень. Не удивительно, что он умер молодым.

Дед Мабович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством, или, чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризуют те, кому я не слишком правлюсь, — нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которой я не знала и чье имя не знаю. Она была известна железной волей и любовью командовать. Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности, именно бабка Голда несет ответственность за то, что моим

родителям разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу просить руки моей матери, дед только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая Блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть краснодеревщик. Но тут на помощь явилась бабка. «Самое главное, — сказала она, — чтобы это был Человек («а менч»)! Если он Человек, то сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом...» Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила — и дед дал свое благословение. Бабка Голда дожила до девяноста четырех лет, и особенно меня порастил рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо, говорила она, «хочу взять с собой на тот свет вкус галута (диаспоры)». И вот что интересно: по словам моих родителей, я поразительно на нее похожа.

Конечно, теперь все они умерли: и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. Нет и восточно-европейских местечек, погибших в огне пожаров; память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко, возрожденное в романах и фильмах, известное теперь в краях, о которых и не слыхивали мои деды, веселое, добродушное, очаровательное местечко, на чьих крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я: с нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи сле-сле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше, и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные, хорошие люди, но жизнь их была, в сущности, трагична, как и жизнь моего деда Мабовича. Я лично никогда не чувствовала никакой тоски по прошлому, несмотря на то, что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети, кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности, и в особенности — евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам о жизни в местечке, какой я ее смутно помню, и нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной.

В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег на поездку туда; как многие тысячи русских евреев, хлынувших в «золотую

страну» на рубеже столетия, он верил, что Америка — единственное место, где он сможет разбогатеть, чтобы вернуться в Россию и начать там новую жизнь. Конечно, все произошло не так — и с ним, и с другими, — но мысль, что он к нам вернется, помогла нам прожить эти три года.

Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила — возможно, потому, что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков, в том числе семьи Хаима Вейцмана и Моше Шарета.

Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Польше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов, но советское правительство не дало мне разрешения. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут, но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему; впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник.

Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках — Пина и Припять (притоки Днестра) — и эти-то реки и давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, разгружали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные ледяные торосы и таскали этот лед в погреба богатей, приберегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб; в жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда, и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью; в Пинске было даже несколько фабрик — гвоздильная, фанерная и спичечная, — которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих.

Но больше всего я помню «пинскер блотте», как мы их называли, — болота, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которых нас научили бояться как чумы. Для меня они навеки

связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг, откуда ни возмись — а может, и прямо из самого болота, — выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. «Ну, — сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушая меня, — ну, что я тебе говорила?»

Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущей к реке, а напротив них, на холме, — монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы калек, с всклокоченными волосами, с вытаращенными глазами; они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить, но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня по-настоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать.

Но не все же было так страшно! Я была ребенком, и как все дети, и играла, и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью Шейны я научилась читать и писать и даже немного арифметике, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. «Про тебя все говорили — золотое дитя! — вспоминала мама. — Вечно чем-нибудь занята.» Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью, опять-таки главным образом через Шейну.

Шейна, которой исполнилось четырнадцать лет, когда отец уехал в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным — может быть, самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычной личностью; для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала — нечасто удавалось мне это заслужить — имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна — это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно, и ее дети и внуки мне так же дороги, как мои собственные.

Несмотря на то, что мы в Пинске были ужасно бедны и мамы, с помощью деда, еле удавалось нас кое-как тащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинск ей было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу; теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование, и не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала луч-

ше и полнее, но и для того, чтобы она могла изменить и улучшить мир. В четырнадцать лет это была революционерка, серьезная и преданная участница сионистского социалистического движения — то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не только «заговорщиками», стремившимися свергнуть всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта — создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начала XX века такие взгляды считались подрывной деятельностью и за них арестовывали даже четырнадцатипятинадцатилетних школьников. До сих пор помню крики молодых людей — девушек и юношей, — которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили.

Моя мать тоже слышала эти крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением: она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке! Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен: она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала — ждала, когда, наконец, Шейна вернется домой с какой-то таинственной «сходки»; я лежала молча, стараясь понять все это — преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила; материнскую отчаянную тревогу; необъяснимое — для меня — отсутствие отца — и все это на фоне топота казацких коней, то и дело раздававшегося на улице.

По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере, так она была на страже, и, если бы показался полицейский, могла предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце терзал страх (в те дни очень распространенный в России), что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором.

Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы и хлопанья дверью. Но в эти субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда, делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из сидура (еврейский молитвен-

ник) — это была одна из немногих книг в нашем доме, — я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейна с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но и, в особенности, евреев.

Многое уже написано — и, конечно, еще больше будет написано — о сионистском движении. Теперь большинство людей имеет представление, что означает самое слово «сионизм», а также, что оно как-то связано с возвращением еврейского народа в страну их отцов — на землю Израиля, как она называется на иврите. Но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце XIX века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но везде разрабатывавшая одну и ту же тему: так называемый «еврейский вопрос». «Еврейский вопрос» в действительности был, конечно, «христианским вопросом» и возник в результате того, что у евреев не было своего дома; он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали две тысячи лет тому назад, но которая осталась духовным центром еврейства на протяжении веков и которая в те дни, когда я жила в Пинске, и до конца Первой мировой войны, была запущенной и брошенной провинцией Османской империи под названием «Палестина».

Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских земледельцев и назвали его Петах-Тиква (Врата Надежды). К 1882 году маленькие группы сионистов из России, называвшие себя «Ховевей Цион» (Возлюбленные Сиона), прибыли в страну с решением вытребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцль, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего не знал ни о том, что делают с евреями в Восточной Европе, ни о существовании Ховевей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты «Нойе Фрайе Прессе» заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом французской армии, Герцль тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки — вся пора-

зительная история о том, как он пытался создать еврейское государство, — изучается теперь всеми израильскими школьниками, и ее следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что же такое сионизм.

Мама и Шейна знали о Герце, но я впервые услышала его имя, когда моя тетка (жившая с Вейцманами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как дурные, так и хорошие) однажды прибежала с глазами полными слез, и сказала мне, что произошло невообразимое: Герцль умер. Никогда не забуду, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна — что типично для нее — решила в знак траура по Герцлю носить только черное; так она и носила траур до тех пор, пока мы не приехали в Милуоки, через долгих два года.

Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов (идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово «погром» вошло в словарь европейского еврейства); однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами.

Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс, и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две основные группы. С одной стороны были члены Бунда (Союза еврейских рабочих), считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства, — говорили бундовцы, — исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном, социалистическом мире евреи смогут если того пожелают, сохранять свою культуру: продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть что захотят. И не будет причины цепляться за отжившую идею еврейской национальности.

Поалей Цион — сионисты-социалисты, к которым принадлежала Шейна, смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый «еврейский вопрос» имеет и другие корни, и потому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого